

ОН БЫЛ НЕИСПРАВИМЫМ ОПТИМИСТОМ...

За год до окончания войны в Карелии, в боях за Равенгору близ Петрозаводска, пал смертью храбрых фронтовой поэт, парторг одного из батальонов 368-й стрелковой дивизии Анатолий Абрамов. Так писал в своих мемуарах «С боями взятые высоты» полковник запаса А.И. Куликов. В других воспоминаниях однополчане писали об ответственном секретаре красноармейской газеты «Вперёд» 368-й стрелковой дивизии Карельского фронта А.М. Абрамове, что его очерки, рассказы знакомили их с лучшими воинскими соединениями, с героями глубокого тыла, звали в бой. А его стихи знали в каждом взводе, роте, батальоне. Солдаты пели песни на его стихи.

Долгие годы однополчане Абрамова считали его погибшим. Однако в 1970 году дотошные пионеры из Карелии по публикациям А.М. Абрамова выяснили, что в том памятном бою лейтенант Абрамов не был убит. Сильно контуженный, он лежал в госпитале, а потом вернулся в строй и воевал до Победы. Позже он закончил аспирантуру в МГУ, стал кандидатом, а потом и доктором филологических наук.

...В 45 километрах к северо-востоку от Волгограда расположена казачья станица Качалинская. Столетие назад здесь, в семье конармейца-будёновца Михаила Абрамова, родился мой отец, ставший известным литературоведом и поэтом. Он прожил долгую жизнь, наполненную интенсивным творчеством. Его перу принадлежат несколько книг о творчестве Маяковского, о воронежских поэтах, о поэзии Великой Отечественной войны, главы о поэзии в университетских учебниках, сотни статей о советской поэзии.

Отец в своих последних письмах ко мне неоднократно говорил о своём желании написать книгу под названием «Мой XX век», в которой собирался подробно описать свою жизнь, своих родных, своё время. Жаль, конечно, что ему не уда-

лось этого сделать. Многие теперь ушло с ним невозвратно. Но кое-что сохранилось в его письмах, в моей памяти из его рассказов.

Приведу дословно характерный отрывок из одного папиного письма, в котором он просит меня достать одно лекарство, которое, как он надеялся, поставит его на ноги: «И тогда я наверняка выполню завет Твардовского: “Ваша книга – хорошо, статьи – хорошо. Но напишите о матери, об отце, о своём пути”. Его помощник А.И. Кондратович прибавлял: “Александр Трифонович, зная, что я с Вами встречаюсь, говорил: “И об атаманше пусть напишет”. Он, кстати, некоторые Ваши письма читал в редакции “Нового мира”. “Об атаманше” – это целая история. Я, видимо, рассказывал, как нас, трёх ребяташек, озоровавших на Большой улице, пригласила к себе хозяйка одного отличного дома. Если кратко: она нас накормила пареными кукурузными початками, дала по стакану тёплого молока, а потом ввела в одну комнату (библиотеку), а потом в другую (там были подшивки газет и журналов чуть ли не со времени войны с Наполеоном). Ещё короче: она дала нам по три книжки, просила по прочтении приходиться ещё. Мы не знали, кто она (хотя и было видно, что она чище и грамотнее простых казачек). Дома мама, увидев книжки, стала выпрашивать, откуда они. “Сыночек, да это же атаманша, вдова атамана Болдырева, которого красные сожгли со штабом в Трёхостровской, за Доном”. Плач, стон, что я и мои друзья зашли, куда не надо. Отец, придя с работы, оценил ситуацию по-другому. “Он – сопляк, ничего не знал и не знает”. Так, я с 27 года по лето 31 года прочитал чуть не всю атаманскую библиотеку. Я не сразу понял, почему этот эпизод был так важен в глазах Твардовского. С годами усёк: его волновал раздрай в русском народе. Белые, красные, попы, партийцы и т. д. Да, всё было. Жизнь разрывала не только народ, страну, но и семьи (он сам из такой семьи) – и это страшно. Было – и пусть останется в прошлом, а нация должна не утратить единства. Да, атаманша, но она не зверь, она тоже русская и помогает в учёбе, в умении вести себя мальчикам из семей красных. Писать о таком, в глазах Твардовского, значит цементировать нацию, страну».

...Из воспоминаний отца: «Лето 1944 г. началось для нас широким наступлением. Выход к Свири, форсирование её под плотным огнём противника, непрерывный ливневый дождь на пути к Вознесенью, заминированные дороги – за этими словами и страшные испытания наших частей, и гибель многих из тех, кого я лично знал и с кем форсировал Свирь в подразделении лейтенанта Николая Квиленкова. Под городом Шелтозеро мы увидели на дороге и на обочине убитых и раненых детей-подростков. В чём дело? Оказывается, дети решили помочь родной армии: они сами стали разминировать дорогу. Медсестра Мария Вальшевская показала нам тех из них, которые попали к врачам. Картина потрясла даже самых суровых из бойцов». Так родилось стихотворение «Шелтозеро».

Ещё из воспоминаний отца: «Карельский фронт – это болота, пни. Техника там не срабатывала. Основная тягловая сила – лошади и люди. Важнейшим пунктом на нашем пути на Свирский участок фронта оказалась станция Няндомы. Здесь мы влились в состав 368-й стрелковой пехотной дивизии, в состав сибиряков (дивизию так и называли Тюменская – по месту формирования). Мы притёрлись друг к другу в тяжёлых походах, сплошь полуголодных, где без взаимной выручки, поддержки просто нельзя было выжить. На Свирском участке фронта, куда мы, наконец, попали, шла подготовка к боям. Это была зима 1942 года. Страшные морозы. Уберечься от обморожения было практически невозможно. Делали землянки, отрывали ходы сообщения, окопы. Самые упорные бои на этом участке развернулись в апреле. Смерти, ранения, кровь входили в быт, но бытом не стали. В апрельских боях где-то в районе Ошты я был контужен. Санбат, а потом госпиталь. Но и там фактически продолжались бои – с их кровью, ранениями, смертями. Не забуду одного раненого пулемётчика, его последние дни, дни начала скудной северной весны... Тогда у меня сложилось стихотворение» («В пустую позднюю природу...»).

После войны, когда отец демобилизовался, он восстановился в аспирантуре МГУ (дело в том, что ИФЛИ к этому времени был расформирован).

В эти годы папа поддерживал какие-то отношения с Симоновым и некоторыми другими поэтами. Так, в 1947 году папа участвовал в Совещании молодых писателей, где он познакомился со многими, позже ставшими очень известными писателями: Лукониным, Гудзенко, Друниной, Старшиновым, Недогоновым и другими. С некоторыми он поддерживал приятельские отношения и в дальнейшем. Я знаю точно, что участие в этом Совещании было для отца очень важной вехой в жизни.

В Москве у него были очень хорошие отношения с некоторыми известными людьми. Папа был знаком с Юрием Любимовым, а Алла Демидова однажды приглашала отца на какую-то приватную вечеринку, на которой должен был петь Владимир Высоцкий. Папа отказался. В это время Высоцкий и отцу, и мне был известен главным образом по его полублатным песенкам, к которым папа и я относились прохладно. И только после смерти Высоцкого мы узнали другого Высоцкого – автора таких шедевров как «Ты не вернулся из боя...», «Мы возвращаем Землю...» и другие.

Уже из Воронежа папу не раз приглашали переехать на работу в Москву: в редакцию газеты «Правда», в МГУ. Одной из причин отказов от этих предложений была неподъёмность огромной папиной библиотеки.

Очень много он сделал как критик и литературовед. Для ряда начинающих и не только начинающих поэтов его оценки в прессе и поддержка оказались весьма существенными, а иногда и определяющими в их поэтической судьбе. Помню, как, восхитившись лагерными стихами вернувшегося с Колымы Анатолия Жигулина, папа ходил и всё время повторял строки его стихотворений: «Я пронёс на плечах магистраль многотонную! Вот на этих плечах! Позавидуйте мне!», и ещё: «Электровоз – это там, в квершлага...», а также из знаменитого «Бурундука»: «Надо номер ему на спину. Он ведь тоже у нас – зека». И сколько энергии и смелости понадобилось отцу, чтобы помочь первым публикациям Жигулина, первым написать положительные отзывы о его стихах. Папа же дал Жигулину рекомендацию для вступления в Союз писателей СССР. Похожая ситуация была и с Алексеем Прасоловым, которого папа, преодолев сопротивление некоторых начальников, включил в свой семинар ещё в 1957 году, где Прасолов получил высокую оценку у Юлии Друниной и Владимира Солоухина. О стихах Жигулина и Прасолова отец имел переписку с Твардовским и Исаковским. В частности, Исаковский прислал в письме к папе многостраничный подробнейший анализ стихотворения Прасолова «Когда прицельный полыхнул фугас...».

Когда писалась докторская диссертация, а потом книги о поэзии Великой Отечественной войны, в доме, практически не прекращаясь, звучали замечательные строки Сергея Орлова, Михаила Дудина, Алексея Недогонова, Юлии Друниной, Семёна Гудзенко, не говоря уж о стихах и поэмах Александра Твардовского, которого отец боготворил. У отца на книжном стеллаже, за рабочим столом висела подаренная самим Твардовским его фотография – молодого и в военной форме. Папа дружил и активно переписывался с Фёдором Абрамовым. Его переписка заслуживает отдельной книги.

Большую часть своей жизни он был неисправимым оптимистом. Верил в каждого очередного генсека, верил, что теперь наконец наступит золотое время для страны. Сначала в Хрущёва, потом в Горбачёва. Только очень серьёзные болезни в конце жизни и действительно трагические события в стране (Чернобыль, «катастрофка») несколько подорвали его энтузиазм.

С другой стороны, интересно, что папа сразу понял значение творчества Андрея Платонова – писателя далеко не оптимистичного. В ВГУ, благодаря отцу, образовался целый центр по изучению творчества Платонова. Мне приходилось

по поручению папы несколько раз бывать у М.А. Платоновой – жены писателя. Приведу один из её рассказов: «Вот на этом продавленном диване, на котором ты, Саша, сейчас сидишь, сидит Фадеев и клянётся в любви к Андрею. А на следующий день в “Правде” выходит статья Фадеева, в которой он поносит Платонова последними словами. Потом смотрю из окна (это во дворе Литературного института на Тверском бульваре, где жили Платоновы. – А.А.) и вижу: под окнами ходит Фадеев и боится войти. Стыдно ему. Такое было время...»

Одной из любимейших присказок отца была такая: «Торопись делать главное». В течение, наверное, тридцати, а может быть, и больше лет он считал своим главным делом написать некий труд по искусству, эпиграфом к которому он хотел взять своё изречение: «От мифа о человеке – к человеку просто». У отца было много заготовок для этого труда. Большие куски текстов о единстве поэзии, живописи у различных поэтов и художников всех веков и народов вошли в его статьи и озвучивались на разных писательских форумах. Папа написал почти бессчётное количество статей, много книг, много стихов, но эту – главную книгу он так и не написал. По-моему, дело было не только в том, что ему не хватило времени или сил, чтобы выполнить эту работу. Дело в его характере, его взгляде на мир, на окружающих его людей. Папа восхищался многими великими людьми, он был, кстати, как и я – его сын, очень жаден к знаниям о великих человеческих свершениях. Вопрос о «планке», которую отец перед собой ставил, – это особый вопрос. Где-то в 1948 году отец совершенно прекратил писать стихи. Он говорил: «Если не писать на уровне Пушкина, Лермонтова, Маяковского, то вообще писать не стоит».

Второе поэтическое дыхание пришло к отцу после смерти мамы. Это 1980 год, когда папе было уже 63 года. Но и в этом возрасте папа равнялся на великих: «Я не живу. Я упираюсь, отодвигая вдаль беду. Я с Микеланджело братаюсь, я с Тицианом речь веду».

Поэтическое творчество отца чётко делится на два периода: первый – это 1934–1947 гг., второй – 1980–2001 гг. Довоенная лирика молодого Анатолия Абрамова уже пестрит свежими красками и имеет черты яркой индивидуальности. К сожалению, стихов этого периода сохранилось очень мало. Общее, что характеризует оба периода папиного поэтического творчества, это то, что его стихи всегда были в ногу со временем, реагируя на те события, которые происходили со страной в тот или иной момент. Можно сказать, что здесь он был верным продолжателем дел своего главного кумира – Владимира Маяковского.

Второй период характеризуется большей исповедальностью, большей глубиной, и я не побоюсь сказать, что по гамбургскому счёту и большей честностью, когда отец пишет о нашем нынешнем бессилии противостоять происходящему сейчас саморазрушению морали, нравственности, традиционному для России укладу жизни. Стихи отца этого периода, оставаясь современными, стали более личными и, как бы странно это ни звучало, одновременно более общечеловеческими.

Вот что написал Виктор Широков в рецензии на папину поэтическую книгу («Литературная газета», 22–28 января 2003 г.): «этот сборник – своеобразная летопись, дневник представителя поколения, вынесшего и Великую Отечественную, и затем восстанавливавшего порушенное, и попавшего в конце концов в тупик перестройки, пережившего распад сверхдержавы, в сооружении которой есть частица и его крови, его труда и борьбы...»

*Александр АБРАМОВ,
сын поэта, профессор Московского государственного
института электронной техники, доктор физико-
математических наук*

Вечером давнишним
На речном плацу Ядрышками вишни
Била по лицу.

Тело изгибала
Ловко, как лоза...
Била, припевала,
Метила в глаза.

Дома, у колодца,
Где не разойтись,
Била где придётся –
Только попадись.

Пролетели годы.
Молодость вдали.
Буревые воды
Детство унесли.

Лет уже я восемь
Не был на Дону.
Уж седьмую осень
Волжскую волну
Я ласкаю взором
И порою лишь
Меловые горы
Вспомню да камыш.

Эх, родные степи,
Заревая мгла.
Там в звенящем хлебе
Спят перепела.

Там я худ и пылен
Веял вороха.
Там меня любили.
Впрочем, чепуха.

Просто так уж вышло,
Что порой она
Ядрышками вишни
Метила в меня.

Просто в сне неясном
Горячило кровь.
А уж я, несчастный,
Выдумал любовь.

Весна

Ещё не май и не апрель,
Ещё зимы на месяц хватит,
Но вот уже звенит капель,
Как будто лодки конопатят.

И пусть ещё немудрено
Вдруг провалиться в снег по шею
В окоп, разрушенный давно
И в занесённую траншею.

И реки заперты на ключ.
И свет в пруды не проникает.
Но по утрам слепящий луч
Всё чаще воды отмыкает.

И это главное! Пускай
Капели звук и слаб, и тонок,
И пусть ещё не светит май,
И нет на речках плоскодонок.

А может быть, они и впрямь
Уже починены как надо.
Весну пойдя переупрямь,
Сегодня – с ней уже нет сладу.

А с человеческой весной
Зиме не сладить и подавно.
Всё расцветает новизной,
Что было пустошью недавно.

И глубже вспарывает плуг
Предполье, скованное дёрном.
Поля озимые вокруг
Зерном засеяны отборным.

Сияет чистый горизонт,
Зенит синеющий раздёрнут.
Весны отечественный фронт
Для наступления развёрнут.

И пусть не май и не апрель,
И снежных бурь ещё хватает.
Но слышат все: звенит капель,
И видят: лёд на речках тает.

Вернись!

Только слово одно
Ты тогда мне сказала...
Это было давно,
Было там, у вокзала.

Возле братских могил
В незатейливом сквере.
Я тот миг не забыл,
Я по-прежнему верю.

И куда не ведут
С той поры меня дали,
Помню, где меня ждут,
Где «Вернись!» мне сказали.

Это слово одно
Мне навеки священо...
Это было давно,
Но и нынче – нетленно.

1941

В разведроту Анатолия Волощука

Больше спокойствия.
Больше спокойствия.
Или к утру
Под артралётом разбитые кости я
В поле ничейном не соберу.

Мир существует. Планета не рушится.
Жизнь не утрачивает права.
Что же томятся от смутного ужаса
Сердце моё и моя голова?

Жизнь выдаёт незаметные крохи нам
Счастья,

а здесь его тратишь пуды...
Что-то не вижу руки Середохина?
Где Волощук? Где Велиев Дурды?

Где растеряю разбитые кости я,
Жизнь променяю на смертную дрожь?
Больше спокойствия.
Больше спокойствия.
Только б не путались правда и ложь.

В пустую позднюю природу,
 Когда всё сплошь оголено,
 Смотрел он, как иные в воду
 Глядят и видят, что дано

Им впереди. Он за весенним,
 Сквозистым, сереньким леском
 Не зимний видел, не осенний
 Край поля, взятого броском.

И не истерзанные ивы
 Вставали перед ним вдали.
 И не виднелся в жёлтых взрывах
 Кусок израненной земли.

Своим он отрешённым взором
 Всю жизнь прошедшую листал.
 Как получилось, что так скоро
 С ней день прощания настал?

Всё изменилось. Очень круто.
 Ведь он дошёл до той поры,
 Когда за каждую минуту
 Удар! И следом – сброс с горы.

И, может, будет день хороший,
 И всё как надо, всё на взлёт.
 А он оторван будет, сброшен.
 А жизнь? Она вперёд пойдёт.

Шелтозеро

Вот здесь в июне, на рассвете,
 В дни наступленья в том году
 Шли в бой шелтозёрские дети,
 Чтоб отвести от нас беду.

Я видел вынутые ими
 На вознесенском большаке
 Противотанковые мины,
 А рядом трупы на песке...

И тут же залитые кровью
 Живые – в рытвинах по грудь...
 нет, не свинцом – они любовью
 бойцам прокладывали путь.

Потом я видел их в санбате –
 Культяпки рук и ног в бинтах...
 И пусть мне говорят: мол, хватит,
 Мы это знаем, мол, и так.

Я должен всё переупрямить,
Всё помнить, бывшее окрест.
Тот, кто зачёркивает память,
На будущее ставит крест.

1945

* * *

Что ж удивительного, что я похоронен
За Петрозаводском, что книжка есть,
В которой показан, как на ладони,
И стих мой солдатский, и путь мой весь.

И как это было под Рованмяки
(А мы их звали Ровангорой),
И как в том болоте и в той атаке
Никто и не ведал, что он – герой.

Не мелочь, не сдачу – мы жизнь тратили,
Зная: нам брода в огне не дано.
Что ж удивительного, если приятели
На мраморе высечены давно.

«Я выжил тогда», – говорит мне прошлое,
Другое – «убит». Вот так и живу.
Их два у меня. И будь по-хорошему,
Мне надо б два будущих – наяву.

Я упираюсь

Я не живу. Я упираюсь,
Отодвигаю вдаль беду.
Я с Микеланджело братаюсь,
Я с Тицианом речь веду.

Они – художники-поэты
И учат жить не как-нибудь.
Они нам подают советы.
Они во всём достойный путь.

Конечно, путь их грандиозен.
У них другие день и ночь.
И всё-таки – не быть в обозе
Сумеют каждому помочь.

И на краю почти что бездны
Пример надёжный подадут –
И там, где дух тоски железной,
И там, где воинский редут.

Вот почему душой братаюсь
С богами, что ушли в молву...
Я не живу. Я упираюсь.
И, может, потому живу.

* * *

А после смерти смерти нет,
И потому там нет тревоги
И нет того, что губит свет
И застилает тьмой дороги.

И никаких ни бурь, ни драк.
Покой от горьких треволнений.
И равенство всех бед и благ,
Будь гений ты или не гений.

Никто не злит и не хамит.
Не мучит руганью отпетой...
Вот только нет там жизни этой,
Которая нас здесь томит.

Душа друзей

Куда меня забросило?
Ночь светлая кругом.
И степь обезголосила,
И тих в сторонке дом.

Мне что-то тяжело дышится.
И я как бы не я.
Но чей-то голос слышится:
— Здесь Родина твоя.

Оглядываюсь, где они,
Кто говорит со мной?
Их нет. Одни видения.
И нет души родной.

Но почему-то чувствую:
Лишь спряталась от глаз
Душа друзей стоустая.
Хоть и молчит сейчас.

1987

* * *

Хлопотливое щёлканье птиц.
Малых сих в этом мире огромном.
До чего оно кажется скромным.
До чего с ним легко разойтись.

Не услышать его на дороге
Средь задумчивых ив и берёз.
И тем более в горькой тревоге,
В лихорадке сегодняшних гроз.

Как легко миновать их приветы
В осень, в зиму. И, как в полусне,
Не заметить их щёлканье летом,
Не услышать их гимны весне.

Но без них будет сердце пустое,
Будут распри и вечное зло...
Я услышал их. Счастье какое!
Видно, сердцу и впрямь повезло.

1995

Только «здравствуй», «прощай» – никогда

Нас хоронят уже. Прозвучало
И такое: «Россия, прощай!»
И пускай она гордо не встала,
Не сказала в ответ: «Не пугай!»

Жизнь горька. Нас корёжат несчастья –
И не месяц, не два, а года.
Но при самой горчайшей напасти
Мы не скажем «прощай!» никогда.

А уж как издевается некий
Над явившейся правдой на свет,
Как он топчет в живом человеке
Зёрна завтрашних вещей побед.

Не могли со словом своим скромным
Встать и молвить бандиту: ты – вор.
Он – хозяин, он – в месте укромном,
Лишь покажется, в честь его – хор.

Да и шире взглянуть – не ухожен
Мир, который мы в руки берём.
Трудный век наш в страданиях прожит,
И сражений не кончится гром.

Здесь мы встретим и дальних и близких,
Тех, кто гадит и рушит наш дом.
Ну а если их горло не стиснем?
Если сами в пути упадём?

Что ж, дорогами битвы шагая,
Пусть мы в чёрном болоте по грудь,
Мы, Россия, страна молодая,
Мы ещё начинаем свой путь.

1995